



Идет старик по Украине,
Хоть больше некуда идти.
О внуке думает, о сыне
В кружном бессмысленном пути.
Он ничего не понимает,
Хоть столько лет уже живет,
Садится в стог, картуз сымает,
Горилку из бутылки пьет.
Он видит очередь за хлебом
И сталь горелую в овсе,
Страны безоблачное небо
И трупы в лесополосе.



Горит пшеница у села,
горит пшеница,
гудят, звонят колокола
вблизи границы.
Не девять жизней у бойца,
в крови тряпица,
и нет на матери лица;
горит пшеница.
Пришла пехота до села
набрать водицы,
плохие, граждане, дела —
горит пшеница.
Тут кто за славу, кто за честь,
кто поневоле,
а колосков считать — не счесть
в горящем поле.
Луганский пепел и песок
застрял в зенице,
расчеты целятся в лесок,
но жгут пшеницу.

Из-под колес, из-под копыт,
из тьмы троянской,
из века в век она горит
в груди крестьянской.
Крестьянам сеять и пахать,
растить, чтоб крепла,
солдатам жечь и отряхать
берцы от пепла.
Лежать нам вместе осередь,
где лес и реки...
А ей пылать, пылать-гореть —
веков вовеки.



Святила Марфа куличи,
Везла в семью еврейскую,
В Москве-то не было печи,
Так ездила в Верейское,
В «Орехозуевский» район
То ль к тетке, то ль к племяннице,
Которой адрес-телефон
Во веки не помянется.
Жилось привольно детворе
На заводской окраине,
Где лук сажали во дворе
И мелом пряжки драили,
И пропускали по одной
Без перерыва лишнего,
И умирали в выходной,
Не помянув Всевышнего.
Меня любила без затей,
«Плетей бы!» — часто охала,
Своих-то не было детей,
Чужие грелись около.
Святила Марфа куличи...
Все видится, все слышится,
И огонек ее свечи
Горит во мне, колышется.



В линзе телевизора вода,
вечное фигурное катанье,
медные на кухне провода
Комитета радиовещанья.
Про войну по праздникам кино,
слесарь выпивал в полуподвале,
на Солянку ясное окно,
на углу соленья продавали,

няня в дальней комнате жила,
по субботам баню посещали,
лодочка по Яузе плыла,
щами пахло, водкой, куличами.
Помню, как горел ацетилен,
дворника немецкую гармошку,
телевизор марки КВН —
весь экранчик с детскую ладошку,
и на секретере навесном
умершего деда на портретах
в окружень ангельском земном
медсестер в походных лазаретах.



Старуху с банками в кошелках, дедка с ведерком чеснока
и парня в лагерных наколках несет великая река. Дымит
паром, дедок шуткует, мотает бакены волной, КАМАЗ на
пристани паркует напротив бочки нефтяной. И пахнет дымом
и соляжкой, и рыбу чистит на лотке по виду старая доярка
в посадском хлопковом платке.

...На черном фоне или белом в любом проведенном краю
углем кузнецким, курским мелом рисую родину мою... но
у дощатого причала в краю мочала и кайла — она сама меня
стачала, сковала, в воске отлила. Причал. Тут пьют и
растаются, сидят до вязкой темноты... И все никак не удаются
неуловимые черты.



По дорогам, высохшим и мокрым, по стерне и снежной целине,
верховыми — на груди с биноклем, пешими — с винтовкой
на спине, с тазом и стиральной доскою, с Пушкиным,
свекольною ботвой, лесом и станицею донскою, Питером,
Тавдою и Москвой, по болотам, наледям, проселкам, Невскому,
Ильинке и тайге, Павлодару, Минску, Новоселкам — в сапогах
чужих не по ноге, семьями, вдвоем, поодиночке... С метками
посконное белье... Вы входили в жизнь мою и строчки, как
в свое законное жильё. Правдолюбцы. Вруши записные.
Русские обжившие края. Милые. Далекые. Родные. Павшая
фамилия моя!

Палач

Мело над Хлебозаводскою, дома и ветви тороча, но в сердце
не было покоя у отставного палача. Все думал он, бредя с
дежурства через газон и детский сквер, что все же было
самодурство — отмена радикальных мер. Он думал: «Надо всех
построить; одних — на ржавый пароход, других в Сибирь, пусть

землю роют, а миллионов пять — в расход. И будет сердцу тихо-мило, и на душе легко-тепло...»

Но как-то слева защемило в груди и в руку отдало. И он подумал: «Вот же суки, ну не врачи, а упыри» — и сел. И сунул руку в брюки, но что-то плавилось внутри. Оно росло. И, сердце жая, на горле затянуло жгут. И вдруг шепнул он: «А ведь жаль их, да ну их к Богу, пусть живут...»

И привалаясь к столбу стальному, хватая воздух рыбьим ртом, он все увидел по-иному — уже посчитанный Христом. Он вспомнил, как метель иная мела, и стыли рычаги, и каждой бабонькой родная страна возникла из пурги; он вспомнил очередь за мылом, отца — хоть Смерть с него пиши, и ту, с которой все, что было, — так мало было для души!

Пятнадцать лет один живущий, злобу жующий битый день, услышал он детей, поющих про привокзальную сирень. Он уплывал, он пел с народом, он шел к далеким голосам...

И ангел над хлебозаводом черкнул крылом по небесам.



Жизнь проходит, лязгая на стыках,
Пахнет гарью северный вокзал.
В госпитальных вечно заковыках,
Долго жить мне Ревич приказал.
Он-то знал: плененный и бежавший,
Франтоватый тощий фронтовик,
В жизни толк, орущих переспавший,
Переживший мрущих грузовик.
Головой положенный к Востоку
Возле чахлой поросли земной,
Он лежит и устьем и истоком,
Грамотой лежит берестяной.
То ли ворон местный, то ли Врангель,
Век тому назначенный в пикет...
От него мне послан Божий ангел,
Потерявший в сутолке пакет.

Александр Хабарову

Нет горы, а облако осталось,
Срыли гору, а оно стоит,
Где ему клубилось и леталось,
Грезилось и плакалось навзрыд.
Тут оно постилось на дорогу,
Серебристый оставляло след,
Здесь оно привыкло понемногу
Так стоять за миллионы лет.

Для хозяйства — гору эту срыли,
Но сквозь параллельные миры
Из белесых облачных надкрылий
Свет скользит над склонами горы.
Много было флюса и расплава —
Ценного народного добра;
Облако висит над Балаклавой,
Где стояла древняя гора.
Желтые дымятся буераки,
Всюду лязг и грохот заводской,
К той, чье имя было Псили Рахи,
Припадает облако щекой.
Гнать бы нас гуртом бараньим взащей,
Ухожу, но чую за спиной
Облако, молчащее над чашей,
Облако, следящее за мной.

Александр Ремизову

Коровяк, подсолнухи и клевер, бабье лето — жаркие деньки. Поезда, идущие на север, подают короткие гудки. Пью кефир «Любаниа из Кубани», мимо ив и розовых кустов по шоссе — хоть сталкивайтесь лбами — понемногу еду на Ростов. Жар сухой, как в лиственничной бане, то ли воздух, то ли жидкий воск. Через пекло выжженной Кубани, через знойный город Тимашёвск. Старики — как пишут на иконе — статные, сухие старики. Нет коней; а чудятся мне кони, боевые кони, казаки. Всюду только пасеки и пашни, полусонный мир и благолепь. Что же я все вижу день вчерашний — в рукопашной вздыбленную степь? Вижу перекошенные лица, всполохи непрошеной беды, ночью запаленные станицы, погорельцев около скирды?
...сироты и сгорбленные спины, глотка опаленная и грудь... Просто мимо Неньки-Украины пролетает путь.



Я жил в кейдановой избе, когда уехали Кейданы, затишье выдалось в судьбе между Кондой и Магаданом перед чеченской войной, перед московскими боями... Делила женщина со мной избу уехавших хозяев. В деревне, вымершей уже от горбачевской заварухи, как на последнем рубеже еще держались три старухи, переползая от избы и до избы, опять и снова все с разговором про гробы и погребальные обновы. Я их запомнил имена: Екатерина, Зина, Вера. А нас — не помню ни хрена: туман все сирптал с Селигера.



Дрожала женщина чужая
В холодной куртке городской,

А за бортом спала Княжая
И пахла водкой и треской.
В пути от пристани к перрону —
Отяжеленная косой,
Она для самообороны
Глядела мимо по косой.
В голодной памяти осталась
Гравюра: пирс, матрос-казах
И эта режущая малость —
Чужая женщина в слезах,
И за холодной Княжою
От полусонных кораблей —
Я сам — за женщиной чужою
Бегущий — белого белей.



Снятся зимою железные сны,
То паханы, то дороги войны,
Голод, старуха-разруха,
Песни барачного духа,
Стылые рельсы, могила отца,
Снег, присыпающий след беглеца,
Вмерзшая в землю рабсила,
Бабушки Ханы могила...
Снятся весною хорошие сны —
Скоро оттают в земле пацаны
В оледенелых бушлатах,
Ватниках и маскхалатах.
Летом хорошее время для сна,
Снится река, как калина красна,
С ночи горящие села,
По погребам новоселы.
Осенью спать, как себя не жалеть —
Сны — то огонь, то казацкая плеть,
То на растопку иконы,
В ржавых решетках вагоны.
Сладко на родине спать-почивать,
Мягко постелена наша кровать;
Хоть не ложиться вживую
Вовсе мне на боковую.



А жизнь кончается, кончается,
Ну, ничего, ну ничего...
Диванчик вдавленный качается —
Батутик детства моего.

И тихо комнатка возвращается,
И давит память на виски,
И мама каждый раз прощается,
Как могут только старики.
Как будто раз последний виделись,
Листали в клеточку тетрадь...
В альбоме дед в парадном кителе
Дает приказ не умирать.
А мама плохо защищается,
Уже трещат и фронт и тыл.
А мама так со мной прощается,
Что отвечать — ни слов, ни сил.
И что-то в воздухе давнишнее,
Как ноты речи дорогой,
Как в том саду под старой вишнею
Из жизни прошлой и другой,
Где каждый вечер возвращаешься,
Как гардеробный номерок...
А тут прощаешься, прощаешься,
Никак не выйдешь за порог.



Старик — ладони на коленях, бутылка белой на столе. Кровать, над ней ковер в оленях; а день — последний на Земле. Он смерть работать не торопит, но ждет, как гостью с утречка. Он печку русскую затопит, на хлеб покрошит чесночка, ушедших вспомнит понемножку, поймает вошь на гребешок и выпьет горькой на дорожку, как пьют у нас — на посошок. Он сало — вынесет сорокам, гвоздем прихватит возле слег; и ляжет тихо, одиноко — последний русский человек.



Сороки, склевавшие мякиш, елозят в снегу наугад. Посмотришь во двор и заплачешь, и все им раздашь, чем богат. Накрошишь последнюю пищу, сам — выпьешь остатки вина и старую песню засвищешь, которой не помнит страна в поселке за кладбищем старым, где нет ни реки, ни леска, где дизельным тянет угаром и бьют по колесам с носка, сбивая наросшую наледь, тычками, как в наглый торец, и буйствует цепкая память — какой-то бездонный ларец: в ней песен старинные строки и даты чужих годовщин, зарок, сороки, пороки и тысячи мелких причин...



Велосипедик трехколесный
Еще без шин, на ободах.
И нет шоссе многополосных
В малоэтажных городах.

О, чудо ветхих впечатков
В косых заламах и трухе,
Где дамы в лайковых перчатках,
А дети в кофтах из пике...
Там все понятно и знакомо
И вспышкой освещено,
Немецкой линзы глаукома
Рисует мутно и темно
Рукой француза-эмигранта —
Как много времени примет —
Пять лет до смерти Фердинанда
И до гражданской восемь лет.
Гармошка фотоаппарата...
Накрыт фотограф с головой...
А дальше дым; и брат на брата
До смерти на передовой,
Когда, наверное, напрасно,
Стакан под вечер накатив,
Все видишь резко и контрастно
Сквозь сердца телеобъектив.



Семья Соломиных тех самых —
Мне незнакомых, но зато
Из тех времен, где наши мамы
В дешевых драповых пальто,
Где общепитовские чашки
И щи с куриным потрошком,
И на ремнях сияют пряжки,
Зубным натерты порошком.
Где дух вареного гороха
Неистребим и гонит сон;
Во мне далекая эпоха
Еще звучит, как Мендельсон.
Рубахи темные на фото,
Но в светлом женщина; и дед,
Предвидя или зная что-то,
Как к смерти в белое одет.



Бредни о нежной свирели,
Корке колымского льда,
Бегстве ночном и расстреле —
Вспомнить нельзя без стыда.
Прошлого века составы
И станционная гарь,

Горькой любви ледоставы
Сделали мой календарь.
И догоняли паромы
Чаек голодные тьмы,
То возводил я хоромы,
То доходил до сумы.
То отирался в передней
Суетной жизни чужой,
Где бестолковые бредни
Слушал, как сказки, Княжой.
Но хуже выстрела в спину
В неодолимом году
Красную помню калину
В неопалимом саду.



Когда голодная икота
Пришла без шуток и соплей,
И лед, как павшая пехота,
Застыл во впадинах полей,
Старик в январском огороде,
Придя не солоно домой,
Сказал: «Всему черед в природе,
И время голоду — зимой.
Была мне водочка намедни,
А нынче вылягусь пластом...»
И принял жизни день последний,
Как хлеб, дарованный Христом.

.....

Но оставалась заваруха
И шей полплюшки дохлевать.
Его сварливая старуха
Сказала: «Хватит погибать!
Вставай, солдат, не жди июня,
Ступай за рыбкой золотой,
Такого лодыря и хнюню
Господь не примет на постой!»
И, помянув Семью Святую,
Он встал, попил, набрался сил...
И рыбку выловил златую,
И три желанья испросил.

